**Тертышный Николай Николаевич**

**Письма в другую жизнь 1**

(странная незаконченная рукопись, случайно найденная в пустой заброшенной квартире)

«…Жалкие времена, когда в почёте лишь одно искусство – умение набить свои житницы, воссесть на золотом стуле и жить сплошь в позолоте, не понимая, что натура человеческая неизменна и что, добывая золото извне, ты неизбежно утрачиваешь золото, которое хранится у тебя внутри, сокровище твоего духа…».

Хосе Марти.

…Писатель из него был никудышный. Писал всегда мало, дело не клеилось, хотя мыслей всегда было предостаточно. Какая-то утробная лень не давала размахнуться, держала взаперти самые нужные выражения и слова. Часто задумываясь над своим желанием написать что-нибудь этакое…, он копался в своём тщеславии, как в старом тряпье, выкинуть которое не позволяла беспросветная нищета, и, естественно, отыскать в этом хламе что-нибудь стоящее не мог. Посылая свои опусы в местную газету, он совершенно не думал о том, что его напечатают. Его утешало уже только то, что кто-то, может быть, и прочтёт его писанину. Для его несостоявшегося самолюбия этого было достаточно. Его письма с двумя-тремя листочками немудрёных мыслей уходили, как в бездну, в глухую непроглядную пропасть далёкой, чужой, не прочувствованной им, жизни.

По всем приметам судьба уготовила ему роль алкоголика. Но он почему-то не пошёл туда, куда упорно тащила его «злодейка», хотя мальчишкою после армии в студенчестве начал было пристращаться к вину, повторяя начало пути всех пьяниц и забулдыг. Но где-то в начале что-то надломилось в нём или наоборот срослось, только судьба вдруг вильнула и совсем забыла о нём, спившись, должно быть, сама, или запамятовав о своём предназначении. Он упирался теперь сам. Шёл, спотыкался, обдирал коленки, но не звал судьбину в помощницы, потому как знал, что она его не поведёт, а свалит либо в психушку, либо в могилу. Он не стал алкоголиком, но приобрёл некоторые наклонности и повадки их: неудовлетворённость, все начала депрессии, лёгкую нервозность, которые всегда присутствовали в нём, тогда как в настоящих алкоголиках эти состояния под воздействием хмеля время от времени отходят несколько на задний план.

В детстве он жил в маленьком железнодорожном посёлке недалеко от города, но всё-таки достаточно не близко, чтобы оставаться сельским, а значит совсем не городским жителем. Большой мир был там, за поворотом железнодорожного полотна, откуда приносились, исходящие теплом и чужими запахами, поезда. Город для него был всегда необъятным и неведомым полусуществом с необъяснимыми повадками и бессмысленным свойством непрекращающегося движения. Нужно или не нужно, а в городе всегда что-либо движется, и каким-то образом вносит в сознание порыв к такому же бессмысленному движению. Словно делал что-то и оставил, но это оставленное дело настоятельно и неотложно требует обязательного завершения своего, иначе что-то беспокоит, грозит и обещает плохое последствие. Это чувство, неловкое и саднящее душу, он сохранил в себе навсегда. И даже, перебравшись в город, став давно городским жителем, страдал от неумения приспособиться к городской сутолоке, к излишней суете. Этого было предостаточно от природы и в нём самом. Но извне это было удручающе лишней нагрузкой. Казалось, он на всю жизнь остался глазастым мальчишкой, зачарованным надвигающейся махиной чёрного грохочущего паровоза. Словно так и остановился у проносящегося состава с открытым ртом и слезящимися от пыли и ветра глазами. Даже теперь, уже в пятьдесят, он по-прежнему часто останавливался в гипнотическом состоянии перед кишащей автомобилями автострадой, перед нарастающим гулом электричек, перед многоликой толпой городских улиц и магазинов. Что-то выключалось в нём в эти мгновения. Сознание его замирало, отказываясь служить, а кровь, под напором напрягшегося испуганного сердца, устремлялась, в сужающиеся артерии, с болью и шелестом. Он никак не объяснял это. Это не объяснишь. Это живёт само по себе в каждой клетке и время от времени даёт о себе знать. Но ему всегда хотелось поделиться с кем-либо этим противоречивым чувством и очарования, и страха, одновременно. Ему это чувство совсем уж неприятным до конца не казалось. Как чувство одиночества, как грусть, может быть, ещё тоска. Все эти состояния не совсем уж плохие в нужный момент, в нужном месте. И почему-то всегда есть желание разделить их с кем-нибудь.

А поэтому он частенько, оставшись холостяком, садился и марал листы бумаги, заставляя слова выходить из ленивого сознания. Словно этим можно было оживить бумагу и заставить разделить с ним накатившую грусть. Слова неуклюже ложились в письмо, путались меж собой, дразнили своей неукротимостью и баловством. Он злился на них, на своё дурацкое желание усмирить этот словесный гвалт. И кончалось всегда одним и тем же: сочинения выходили скупыми, основные слова не подчинялись руке, и убегали со страниц, как нашкодившая кучка подружек-хохотушек. Он либо забрасывал писанину в шкаф и почти забывал о ней тотчас, либо, осмелившись, ублажая своё хилое тщеславие, отправлял письмом в бездну далёкой неохватной действительности, о существовании которой лишь смутно представлял. Замечали ли его письма там? Такого вопроса он никогда себе не задавал. Очарование и одновременный страх перед величием и непостижимостью другой жизни не оставляло ему возможности понять чего же он сам то, в конце концов стоит в этой жизни, грохочущим поездом, мелькающей перед глазами. И вскочить на её подножку у него никогда не хватало ни сил, ни храбрости. Он лишь украдкой примерялся прыгнуть, иногда чувствуя, как накатывает порыв, как тянется его замирающее сердце к поручням желанного вагона, как улетает оно трепетной птицей вместе с мелькнувшим вдруг в одном из окон таким знакомым и таким недосягаемым лицом. И лишь маленькое письмо, как крохотный отрывок своей надежды, умел он наскоро бросить в уносящуюся щель почтового ящика. Он надеялся всегда, что вот так же из этого грохота вылетит вдруг неожиданно листок с ответом. Ведь кто-то вот так же где-то бросает свои письма и для него. Только они идут ещё где-то, идут…

Его старые, накопившиеся за долгие годы записи, пылились за шкафом в потрёпанных картонных папках вперемешку с жёлтыми от времени листами старых газет и школьных тетрадей. Может быть, и было что-то ценное в этих записанных размышлениях, философствованиях, но кто это мог оценить, кому это могло понадобиться. Сам он помнил почти наизусть все свои дневники и письма. Но и сам же видел их несовершенную, зачастую нелогичную всеобъемность. Думать обо всём можно, но вот писать об этом же было полнейшим абсурдом. Он словно алхимик средневековья смешивал слова и фразы, как реактивы и различные вещества, надеясь вероятно однажды получить что-то необычайно новое и неведомое, чарующее и захватывающее душу, как если бы найденное алхимиками новое драгоценное вещество очаровало глаза и восторгом наполнило сознание. А как-то однажды он понял, что законченная, уже собранная в нечто цельное книжка угнетает ещё больше, чем недописанная. В этом случае невыносимы мучения сомнением в правильности сделанного, отчаянное барахтанье в бессмысленных повторах картин и событий, которые теперь можно лишь переписывать и дополнять до бесконечности, но от этого они не становятся лучше. При этом он доходил до беспамятства, и, в конце концов, все добавления выбрасывал в мусор. Ждал ли он реакцию читателя, отправляя нечто законченное в редакцию? Скорее нет. Давно стало понятным то, что чьё бы то ни было мнение, уже не изменит написанного, если уж он сам не в силах этого сделать. То, что выходило из сознания в строку, почти тут же становилось чужим и неизменным. Но изнуряющие сомнения грызли мозг и заставляли страдать почти физически. Наверно политики, развязывающие войны и глумящиеся над людской простотой и беззащитностью, сомневаются меньше в своих злонамерениях...? Нет, это не так! Совесть и размышления мучают всех без исключения, и тирана, проливающего кровь сородичей, и маленького серого писателя, сочинившего-таки свою книжку. Он, конечно же, понимал своеобразную пастельность своих опытов, наивную всеохватность, размытость и бесконфликтность описываемых событий. Но понимал так же, что литература, как и всякое искусство, многогранна.

Вообще, думалось, все книги в мире условно можно разделить на несколько категорий. Одни могут быть подобны закрытому собранию, где о происходящих действах можно только догадываться, где явная клановость диктует жанр и течение событий. Это книги для узкого посвящённого круга читателей. Есть книги похожие на административные, помпезные и многозначащие здания с множеством кабинетов, в большей мере ненужных и бесполезных. Такое наверно можно сказать об учебной литературе, о специальных справочниках, энциклопедиях и ещё о многих книгах из ряда так называемой специальной литературы. Есть, конечно же, ещё книги – парткомы с дутой многозначительностью и вычурной правотой. А есть книги большие, умные и важные своей философской великозначимостью. Их читают специально и только один раз для дела, как говорят. И тут же книга может быть каким-то клубом, или в более широком смысле – домом для каких-то кружков, подобно домам культуры или киноконцертным центрам. А может быть и маленьким баром, забегаловкой, закусочной, развлекательным варьете, со всеми вытекающими отсюда направлениями в повествовании. Таких книг много, они так пестрят многообразием обложек и, конечно же, разноплановостью беллетристики. И тут нет особой нужды ругать это или наоборот восторгаться. Это нужно просто принимать. Это чтиво, так сказать, для всех. Его и читают все понемногу, на бегу, второпях, часто для того лишь, чтобы, как говорится, «накормить» глаза. И есть книги – церкви, куда не все ходят, но почти все понимают важность благого дела их. Такие книги если читают, то потом перечитывают всю жизнь. Таких произведений мало. К чему причислять свои литературные опыты он не знал.

И вот однажды! Как часто в жизни происходит это «однажды»? Один раз, два…? Или вся жизнь состоит из этих неожиданных «однажды»? У него это случилось именно однажды! В сумерках серого обшарпанного подъезда в грязно-синем изуродованном жестяном почтовом ящике однажды он обнаружил большой плотный конверт с мозаикой почтовых марок, придавленной оттисками почтовых штемпелей. Сердце его заколотилось взволнованно, и, чтобы успокоить его, пришлось облокотиться на расшатанные без деревянных накладок железные поручни. Чуть успокоившись, затаив дыхание, он тут же вскрыл конверт. Какие-то странные газетные вырезки, глупые, ничего незначащие огрызки журнальных фотографий. Он ничего не понимал. Кто прислал это письмо? Внимания заслуживал лишь конверт, на котором значился только адрес получателя, написанный его собственным размашистым почерком. Получалось, что это письмо самому себе. Обратного адреса на конверте не было. На его обычном месте неразборчивой кляксой расползлась большущая непонятная печать. Поднявшись в квартиру, он долго изучал содержимое пакета, потом, в сердцах ругнувшись, свалил всё в мусорное ведро. Оставил лишь конверт. Плотная серая бумага с золотыми крапинами по всему полю чем-то привлекала внимание. «Ещё пригодится…» – подумалось просто так бесхитростно. Он тут же определил в конверт тетрадь с последними заметками и на день-два забыл о нём.

Нужно сказать, что, проживая в десяток квадратных метров однокомнатной квартире законченным холостяком, он никогда не чувствовал одиночества. Ни когда жил здесь с женой, благодаря которой наверно и получил когда-то эти квадратные метры, ни после, когда жена ушла от него, толком и не объяснив свой уход. Наверно он не понимал или не находил в одиночестве ничего плохого или угнетающего. Это состояние было его сутью с тех самых пор, как он помнил себя. А память его была устроена необычайно просто. Всё плохое и горькое она упрямо выбрасывала из себя прочь, не превращая, как это обычно случается, в грусть, в досаду или, того хуже, в излишнюю желчь и злобу. Его память хранила только доброе, только тёплое и хорошее. Правда, чересчур хорошего в памяти тоже не было, наверно потому что такого в жизни просто не случалось. С трёх лет он жил в детском доме в том самом железнодорожном посёлке. И значит, по логике вещей, что-то случилось не очень хорошее в связи с его рождением, поскольку память совершенно была не в силах воспроизвести что-либо из до детдомовской жизни. И детский дом помнится мало. Ровно столько, сколько доброго и хорошего могло быть на заштатной железнодорожной станции вблизи шахтёрского городка, зимой продуваемой всеми ветрами, а летом задыхающейся угольной пылью с зольных отвалов, вечно дымящейся электростанции. Чуть больше хранит память годы армейской службы в Сибири на отдалённой ракетной точке, где так пригодился его детдомовский опыт психологической совместимости в малом бритоголовом подразделении. Но вот сослуживцев забыл, хоть убей.

…Нет ничего более бессмысленного и противоестественного в жизни людей, чем война. Какие бы положительные качества или важные свершения не приписывались войнам, это ни на йоту не даёт оснований видеть в абсурдности кровавых человеческих противостояний что-либо достойное и необходимое для жизни обществ. Войны разрушают не только культуру производства, т.е. осязаемый и видимый труд многих и многих поколений, не только резко уменьшают численность людей, тем самым, провоцируя природу на ненужный рост населения сразу после войны, но ещё более важно то, что войны разрушают культуру духа, устои и достоинства воспитания. Во время войн рушатся не только города. Бессмысленный, неблагодарный труд, затраченный на производство оружия, приносящий в результате лишь гибель и разрушения, вносит ко всему прочему сумятицу и сомнения в созидательный процесс вообще. Жизнь, отданная такому труду бессмысленна и пуста. Такой жизнью ничему не научишь потомков, разве только убивать и разрушать. Война втискивает в один окоп отцов и сыновей, и неизвестно кто из них раньше погибнет. Это противоестественным образом нивелирует поколения, перечёркивает возрастные различия людей, вместе с этим разрушая традиции и обычаи, важнейшим образом сформировавшие когда-то воспитательный процесс. В одночасье рушится то, к чему люди приходили веками.

И он не знал, что перевесит, в конце концов, если на одну чашу сложить приписываемый войнам прогресс и движение, а на другую лишь разломанную войной внутреннюю культуру людей?

…Нет, лиц и даже имён из своей армейской службы он не помнил. Зато глухомань таёжную, несказанную красоту осенних, просветлённых первыми холодами далей мог вспоминать с удовольствием и часто. Память с поразительным упорством, словно фотография, хранила в своих закоулках чудо тамошних зим, восторг перехваченного морозом дыхания, тишь и мягкую грусть снегов в синих безбрежных логах. «…В природе больше хорошего, потому и запомнилось…» – убеждал он себя, часто силясь вспомнить «однополчан». Слегка раздражался из-за того, что не помнил людей, с которыми отдавал священный долг.

Спустя какое-то время конверт подвернулся под руку. Он заметно потяжелел. Несомненно, в нём что-то прибавилось. Удивился: «Что же такое я в него мог положить?». В конверте оказались начальные наброски одной истории, которую хотел когда-то написать, да всё не доходили руки, не хватало усердия и вдохновенного порыва. Удивительным образом количество написанного явно возросло с тех пор, как он положил тетрадку в конверт. Бегло просматривая её, поймал себя на мысли, что не писал этого. Начало было, несомненно, его. Припомнилось, как выуживал первые строки этой истории из хаоса своей плохо организованной памяти. Они были неуклюжими и плохо изложены словами, наспех пришедшими на ум. Но чудным образом появившееся продолжение истории было ясным и понятным, сложившимся в замечательный сюжет, увлекающий интригой, верным действием и ладным словом. Почерк был без сомнения его. Так копировать или подделываться под его руку не пришло бы никому в голову. Кому нужно было корпеть так много и кропотливо над нелепой шуткой дописывать его неинтересную малозначащую историю. «Я, вероятно, начинаю сходить с ума», – подумалось необычайно спокойно и ясно. Ещё подумалось, что надо бы прекратить с этим писательством, поскольку уже не помнишь, когда берёшься за перо.

«Может быть, это произошло случайно во сне или под «мухой»…?». Он стал припоминать, когда эта «муха» была у него в последний раз, но не припомнил и, удивляясь странности случившегося, принялся разбираться в рукописи. Рассказ действительно был завершён, доведён до совершенного восприятия. Логика повествования нигде не утрачивала своей притягательности, слова ложились друг за другом без толкотни и излишеств, и при прочтении словно катались на языке легко и приятно. Это была без сомнения его история, его задумка и его почерк, но писал её кто-то другой умелый и ловкий, поразительно талантливый и не сомневающийся в знании своего таланта. Думалось: «Что я буду делать с этим? Это разве покажешь кому-нибудь? Да и не поверит никто, что так здорово можно написать…».

Но тут же одолевали другие мысли: «А почему бы и не показать? Написано-то здорово! Даже если это и не я, пусть люди читают». Удивительно то, что совсем не беспокоил вопрос – кто же это, в конце концов, всё-таки написал? «Чертовщина какая-то! Отправлю это в редакцию и всю эту писанину заброшу. Иначе недолго и свихнуться…».

Внутренне он понимал, что происходящее с ним, конечно же, от одиночества. Эти чудеса и провалы в памяти могли быть и от ночных смен, после которых он редко отдыхал. Могло случиться, что в полусне он всё-таки дописал историю, потом заснул, потому и не помнил. Этим вот и убедил себя, запечатывая рассказ для отправки почтой. Но когда, было, собрался в отделение связи, чувство необъяснимого стеснения вдруг овладело им. Мысль о какой-то несправедливости или неправедности сначала слабо шевельнулась в голове, но уже через минуту разрослась, заполонила мозг и заставила отказаться от идеи отсылать рукопись в редакцию. «Как тебе не стыдно? Ты не мог этого написать, это чужое письмо. Это лежало в чужом конверте. Конверт! Вот где разгадка! В этом странном чужом конверте…».

«…Уж месяц (или более?), как говорил с тобой по телефону, а словно вчера обещал сообразить пьесу и отправить на твой суд и расправу. Но дело-то оказалось «запросто не просто» и затянулось изрядно, и мало того, думаю, затянется ещё, поскольку опыт сей у меня первый, и нагородил я в нём порядком.

Пьесу сообразил некоторым компилятивным (говоря твоим языком) образом из своих же собственных опытов. Понимая всю рискованность подобного предприятия, тем не менее, осмеливаюсь предложить его твоему вниманию. Полагаю, что над этим стоит поработать.

Я ожидаю от тебя всё, что угодно, вплоть до абсолютного отрицания всей вещи, но какое-то зерно, какой-то зародыш должен остаться. Я знаю, ты умеешь его выделить. Может быть, необходима некоторая трагедийность в сюжете, может быть стоит усилить детективную ноту, или наоборот уйти от излишней замороченности к простоте и наиву отношений героев между собой. В некоторых местах, вероятно, не хватает динамики, экспрессии, и в «сидячие сцены» стоило бы ввести движение. Моя личная позиция в этой многовариантности выбора состоит в том, чтобы уйти каким-то образом от сегодняшнего состояния «натуртрагедийности» (да простится мне вольность в таком словосложении) в литературе. Я скучаю по простому обывателю, (которому, впрочем, совсем не чужды и необывательские, так сказать, возвышенные… проблемы), скучаю по негерою, по заурядной личности, по наивному доброму человеку, просто живущему, (любящему, рожающему, воспитывающему и т.д.) просто работающему, в простом мире понятных общечеловеческих отношений, а не среди нескончаемой чреды душевыматывающих патологий. Я не знаю, что это такое во мне, но только не уход от реальности, как это можно было бы предполагать в подобном случае. Зато я точно знаю, что реальность совсем не такова, как её преподносит сегодняшний литератор, востребованный на массу. Она намного ужаснее его представлений, она всегда была таковой, но ужас или зло это всегда нейтрализовано всегда должным и всегда достаточным процентом блага или добра. Намерено уменьшенный процент этого блага в литературе даёт нам вот тот эффект бесконечного гипертрофированного вселенского зла. Я понимаю, что наоборот, при уменьшении зла, возможен эффект некоего идиотизма. Как найти точное соотношение здесь, я не знаю. Это, я думаю, вечный секрет в любом искусстве. Найти его, значит схватить верную удачу, как говорится, за хвост.

Название опыта моего – «Так и живём», конечно же, условно. Тут нужно дорабатывать, поскольку понимаю, что в самом названии можно и нужно подчеркнуть фабулу, а заодно и заострить, если это возможно, сегодняшнюю какую-то одну из центральных общественных забот, а может быть есть вариант как-то оригинально объединить названием вообще эти многочисленные заботы. Не знаю…. Можно было бы назвать избито и тривиально из серии «Дорогие (милые) мои старики» или просто «Старики», но пока остановился на условном варианте.

С текстом, в смысле формы (описание персонажей, авторские вставки, разделение по актам, музыкальное сопровождение и т.п.), я работал ровно столько, насколько простирается моё дилетантство в сей области. Как это делается профессионально, я не представляю, но думаю, что это каким-то образом скажется даже с положительной стороны, давая некоторый простор постановщику.

Песня, что должна звучать в начале третьего акта, почему-то ложится у меня в подсознании лейтмотивом ко всей постановке. Вероятно, я предполагаю слышать музыку этой песни какой-то определённой вырванной грустной балалаечной (фольклорной…?) нотой (или полублатным мотивом…?) за сценой над действием, но тихо и отдалённо. Музыки ещё нет, но я слышу её свою и привязываю к событиям спектакля на каком-то интуитивном уровне. Что это, я не знаю.

Мне хотелось как-то увидеть по-доброму то, что называется преемственностью поколений, а потом ещё, опять же по-доброму, проанализировать свершающийся с развалом прежней идеологии социальный слом. Насколько это у меня получилось, судить тебе. Хотя, признаюсь честно, таким особо умным и значительным «ребусом», я озадачивался в наименьшей степени. Более мне интересен просто человек, персонаж сам по себе, как говорится «в собственном соку», с его говором, мимикой, жестами и т.п.

Я оставляю своих «героев», как бы лишая поддержки из прошлого, один на один с новым временем, чуть может быть, наделив их перед этим всё-таки некоторым благом прошедшей эпохи… «окончательно победившего социализма». Научились ли они чему-либо, и будет ли это «что-либо» нужно им в новом времени, я не знаю. Но вера в преемственность добра межу поколениями в момент сложного социального разрыва не покидает меня.

И ещё одна задача стояла передо мной (только не знаю, правильно ли я её себе представлял…) – это минимум мизансцен и возможность либо исключать, либо дополнять сценическую обстановку, за исключением может быть некоторых, как мне кажется, деталей (например – детская кроватка в четвёртом акте, без которой мне думается сложно передать своеобразный психологический настрой). Но, повторюсь, и здесь я поступаю интуитивно, не более того, и полагаюсь на воображение того, кто отважится читать мой «реализм». Насчёт последнего, тут я понимаю наив и простоту такого приёма, особенно в сравнении с сегодняшними изощрениями в творчестве, когда из самой малой проблемки «надувают» с помощью множества метод глобальное произведение, начинённое «…и зрелищностью, и умственностью, и вообще бесконечностью достоинств…». И ещё я, конечно, понимаю, что искусство действительно отклонилось значительно с нравоучительных позиций(?) в сторону развлекательности и стало в большей мере шоу. Но я старомоден и потому продолжаю говорить прежним проверенным способом (и потому, наверно, могу наговорить сгоряча всякой чепухи).

Сообразит всё это, оказалось для меня сверхзадачей, во-первых, потому что никогда не занимался таким делом, а во-вторых, вероятно, «скупее стал в желаньях». Хотя признаюсь, был всегда почему-то уверен, что нечто подобное мне всё-таки придётся сделать обязательно. Когда начинал работать над сим опытом, ни в малейшей степени не чувствовал ни робости, ни неумения (что, признаться, бывает со мной очень редко). Просто знал, что делать и делал. Но когда уже в черновике был готов финал, тут невыносимые хандра и уныние пришли добавкой к моей хронической лени, и я с великим трудом одолевал последний акт (и всё совершенно было не так, и всё плохо, и вообще не надо было браться и т.д.). И чтобы совсем не впасть в депрессию, наскоро отправляю пьесу тебе без какой-либо редакции или коррекции. Казни теперь не казни, но «мавр своё дело сделал…».